

Черт, как все-таки приятно убедиться, что мальчишка, сидящий напротив — стриженный под ежик, упакованный в джинсы и кожанку, глазастый, тонколицый, как принц, — что все-таки это не мальчик, а девочка. Мою радость поймет только такой же закоренелый бабник, как я.

Ее выдало и лицо, и глаза, и пластика тела. Черт, а она ведь красавица. Вот без дураков.

Настоящий подарок природы и#8230; и ума.

Называйте это как хотите, но то, что светится в глазах, в лице и во всем человеке, — то, что называют обаянием, харизмой, изюминкой и другими словами, то, без чего не бывает настоящей красоты, а бывает только смазливость, — я называю это, уж простите, умом, потому что именно так называется главное в человеке. Оно может проявляться в чем угодно, и вовсе не обязательно — в рассудке, к которому глупые привыкли сводить ум.

Девчонка была пронизывающе хороша. Такому личику, таким щекам, таким губкам-лепесткам позавидует любая модель. Черт, черт, ну почему она обстриглась? Почему этот нервный овал не обрамляют ореховые локоны, почему они не отсвечивают в карих глазищах, электрических и взбудораженных, как у кошки после охоты?

Она заметила, что я разглядываю ее, и не отвела глаз, как делают почти все, и не изобразила Роковую Женщину, как делают остальные, а упрямо глядела прямо в меня, выдерживая взгляд. «Сейчас первая заговорит», подумал я. «Она не из тех, кто признает барьеры#8230;»

— Чего вы на меня смотрите? — спросила она.

Гулкий, взволнованный, совсем еще девчачий голос.

— Сказать честно?

Поднимает брови. («Вот такие раньше называли соболиными#8230;») «»

— Валяйте.

— По трем причинам. Точнее, одна причина, имеющая целых три аспекта.

— Вот нагрузили!#8230; И что за аспекты?

— Аспект первый: я довольно долго пытался понять, девочка ты или мальчик. Аспект второй: ты красивая, а красивые люди на то и созданы, чтобы на них смотрели и радовались. Аспект третий: я смотрел и радовался, но не до конца. Радость омрачили твои волосы.

Она скорчила гримасу.

— А что в них не так? Не там концом растут? Перхоти много?

— Нет, все не то. Их просто нет, понимаешь? Зачем ты обстриглась?

— А что, не идет?

— Как тебе сказать#8230;

— Говорите, как есть.

— Ладно. Но тут тоже будут аспекты. Готова? Аспект первый: таки да, не идет. Увы. Ты слишком красива для такого бобика. Аспект второй: именно этой нестыковкой ты привлекаешь к себе внимание. Твоей красоты жаль, как сломанной березы. Эта жалость будоражит в мужчине звериные инстинкты, а тебе придает прямо-таки болезненную сексуальность. Минус два в красоте — плюс десять в сексуальности. Впрочем, ты и сама все это знаешь.

Молчит. Розовая, как шиповник, хоть и владеет собой почти как взрослая.

— Это ваше любимое слово — «аспект»? Я теперь так и буду звать вас: дядюшка Аспект.

Идет?

— Чтобы согласиться, я должен узнать, как зовут тебя.

— А вы ведь только что дали мне имя: Бобик. Очень приятно!

— Взаимно, — протягиваю руку, улыбаясь ее уму. Ох, и задаст же она перцу мужикам годика через три, а то и раньше;

Она картинно жмет мне руку холодными, как лягушка, пальцами:

— Вот и познакомились! А вы всегда вот так лезете напрямик, или только если в вас разбудить звериные инстинкты?

— И да и нет, — говорю. — Я уже давно не в том возрасте, когда хочется вилять. Слишком многое за спиной. Хочется быть собой. А с тобой — особенно.

— Почему?

— Да ты ведь сама понимаешь. Рядом с красотой всегда хочется быть чище и добрей.

— Ха; Не буду делать вид, что на меня не действует ваша лесть. Все равно не получится;

— Да-да, не надо.

— ; Но. Но. «Маленький, и в то же время довольно-таки большой вопрос». Эти ваши звериные инстинкты часом не вздумают на меня напасть?

— Хо. Это совсем небольшой вопрос на самом деле. Не вздумают. А если и вздумают, то не раньше, чем через годик.

— С чего это такая фора?

— Тебе ведь сколько? Семнадцать?

— Ээ; Вот сказала бы, что девяносто два, так не скажу же. Договорились не вилять — значит, не вилять. А вам — лет; сорок? Тридцать восемь? Тридцать;

— Не льсти мне, — говорю я. — Не вилять — значит не вилять. Замнем для ясности.

— Стыдиться своего возраста стыдно. Мне вот восемнадцать, а чувствую себя на тридцать с гаком, причем уже давно, года два, а то и три; Слушайте, а почему я вам все это рассказываю? Я это не говорила еще никому, даже;

— Наверно, потому, — говорю, — что я заинтриговал тебя. Не вилять — это ведь не всякий умеет.

— Не всякий, — кивает она, — это уж точно; Не вилять, говорите? Ладно, будем не вилять.

Она набрала дыхания, будто решаясь на что-то, и октавой выше продолжила:

— Наверно, у вас дома лежит себе такая большая-пребольшая куча денег?

— А почему это, — спрашиваю, — тебя интересует куча, которая лежит у меня дома?

— Вот только не надо, — мотает она стриженной головой, — не надо. Не надо делать вид, что вы такой. Из этих.

— Из каких таких «этих»?

— Таких, которые, чуть что, начинают правами прикрываться и всех подряд на место ставить. Сами сказали — «не вилять».

Вот умная чертовка, думаю. Нет, с ней и вправду так не надо.

— Твоя взяла, — говорю. — Не то чтобы очень большая, но какая-никакая кучка имеется, это верно.

— Ну примерно какая? Скажем; тыщу баксов для вас проблемно потратить?

«Ого», думаю.

— Смотри на что. Если на что-то важное и ценное — нет, не проблемно.

— А две?

— Ну… Где тыща, там и две.

— А десять?

— Ставки растут, да? Ты же понимаешь, что с такими вопросами трудно удержаться и не поставить на место…

— Конечно. А вы понимаете, что меня даже с такими вопросами не хочется ставить на место…

— Ну ты и наглый, Бобик!

— Нет. Просто я не виляю. Так как? Десять тыщ баксов — проблемно?

— Ну, — сдаюсь, — вопрос, конечно, не ахти какой, но… если что-нить очень-очень важное… или очень-очень приятное — могу и потратить. Не слишком часто, конечно. Раз в несколько лет, не чаще.

— Ясно. А скажите-ка, дядюшка Аспект… Скажите мне… скажите такую вещь…

Ей трудно было это произнести, очень трудно, прямо уши дымились. Но я ждал, не подгоняя.

— А скажите… вы могли бы выложить эти деньги, скажем… скажем, если бы кто-то попросил бы их за свою девственность?

— Например, ты? — усмехнулся я.

— Ннннууу… например, да.

Она быстро откинулась на спинку, вызывающе глядя на меня. Щеки ее были уже не розовыми, а малиновыми, как херсонские помидоры.

Я мог бы послать ее подальше. Я мог бы назвать ее меркантильной малолетней кретинкой и навсегда убраться из ее жизни… Но вилять не хотелось, поэтому я так и сказал ей:

— Я мог бы послать тебя подальше. Я мог бы назвать тебя меркантильной малолетней кретинкой и еще крепче. Мог бы навсегда убраться… но вместо того, чтобы все это сделать, я сижу и болтаю с тобой. А это уже плохо, потому что дает тебе лишнюю надежду, на которую у тебя нет никаких оснований. Почему?

— Что «почему»?

— Ты знаешь, не прикидывайся. Почему ты продаешь свою девственность?

— Вы знаете, не прикидывайтесь. Деньги нужны.

— Зачем?

— Нуууу…

— Никаких «ну»! Вилять вздумали, товарищ Бобик? Я тебе про кучу рассказал?

— Нуууу… Ладно. Только вы не поймете. Рассказывать?

— Нет, глупые вопросы задавать! Ну?

— Нуу… В общем, у меня есть парень. Инвалид. Ему нужны деньги на операцию. Сколько-то уже есть, не хватает десять тысяч. А теперь вы скажете «могла бы выдумать и что-нибудь поумнее». Потому я и не хотела говорить.

— Ну почему же, — возразил я, хоть секунду назад хотел сказать именно это. — Раз не смогла выдумать — значит, не смогла.

— Ха, — хмыкнула она. — То же самое, только с перчинкой, в вашем духе. Вы не виляйте, а скажите: да или нет?

— Слушай, но как же можно? Он ведь твой парень?

— Можно.

Я вдруг понял: пропал дядюшка Аспект. Поверил, а значит — пропал.

— Можно. Я для него; ну, знаете, отношения ведь разные бывают. Он младше меня на год. И весь такой; в очках, тихий, умный. Настоящий. Я его очень люблю. И хочу, чтобы он был не только тихим и умным, понимаете? И мамы у него нет и не было. В общем, я для него такая — ну, как бы опытная, большая. Взрослая. Я и целоваться его научила. Он ведь закомплексованный страшно. На самом деле я ни хрена не опытная, конечно, кроме него у меня никого не было, и стесняюсь тоже, просто его очень люблю; В общем, скоро уже у нас должно быть; сами понимаете, что. И я не хочу, чтобы он знал, что я;

— Что ты девушка?

— Ага. Как хорошо с вами: все понимаете. Только не верите.

— Почему ты обстриглась?

Она не ожидала вопроса и замолкла.

— У тебя ведь недавно были длинные? Гордость, чудо природы и так далее?

— Да; Вы — человек-рентген, да? Потому что; ну да, это тоже из-за него. Не знаю, как вам объяснить.

— Не надо объяснять, я уже все понял. С волосами ты милая, хрупкая и тэ дэ, а с бобиком — сильная и стильная, и взрослая до охренения.

— Ну да, где-то так; ээ;

— Я согласен, — перебил я ее.

— Что? — она застыла.

— Ты слышала, не притворяйся, — говорю я. — Я согласен.

— С чем?

— Согласен на твоё предложение. На твою сделку. Ты продаешь мне свою девственность, я покупаю ее за десять тысяч долларов. Что, — выждал я паузу, — надеялась, что откажусь?

— Ээээ; да, — честно призналась она.

— С чего это? Я не классная дама, а ты не маленькая деточка. Я сразу сказал, что ты мне понравилась. Только у меня один вопрос и одно условие.

— Ого. Ну давайте.

— Даю. Вопрос: ты понимаешь, что добровольно делаешься шлюхой?

Я подчеркнуто жестко произнес это. Она дернулась.

— Шлюхой? Почему?

— Почему — не знаю, тебе виднее. Но это так называется. В русском языке. Так называется женщина, которая трахается за деньги. Шлюха, блядь или проститутка. Вне зависимости от «почему». Осознала?

Она помолчала, потом кивнула.

— Осознала.

— И?

Она снова кивнула.

— Все в силе.

— Ну хорошо. — Я подсел ближе к ней. — Теперь условие. Я занимаюсь с тобой сексом не один раз, а как минимум четыре. Гонорар после четвертого раза.

— Четы-ы-ы-ыре?! Почему это?

— Из альтруистических соображений. После первого раза ты сможешь только морщиться от боли, но никак не строить из себя опытную гейшу. Твою пизду — ты не сердишься, что я называю вещи своими именами? — твою пизду нужно как следует разьебать, чтобы ты могла хотя бы не испытывать боли, не говоря о том, чтобы ловить кайф от секса. От обычного секса, я имею в виду. Без ухищрений. Согласна?

Она сидела, глядя прямо перед собой. Потом кивнула.

— Опытная гейша — это очень круто. Владик офигеет, — сказала она. Голос ее дрожал.

— Я не сомневаюсь, — ответил я. — Ну, Бобик, добро пожаловать на путь порока.

— А вам не совестно делать меня шл… проституткой? — вдруг спросила она.

«Ага, все еще надеется, что я откажусь…»

— Нет, не совестно, Бобик. Ты красивая и сексуальная, и я тебе не воспитатель в детском саду. А ты — взрослый человек, делающий свой выбор. Конечно, я не навязываю его тебе.

Откажешься — найму другую шлюху и кончу в нее, воображая, что это ты. Не вилять — так не вилять. Ну что?

Она кивнула, и я продолжил: — Завтра в 20.00 ты придешь вот сюда — я показал ей адрес, — и там я сделаю тебя женщиной. Или, проще говоря, выебу тебя нахуй. Впервые в твоей совершеннолетней жизни. Все правильно?

Она снова кивнула, красная до корней волос.

— Заметано. Жду, Бобик. Очень жду. И надень, пожалуйста, что-нибудь женственное. Можно даже чересчур.

Я встал и пошел прочь, не глядя на нее.

Сердце стучало, как психованное, в ушах звенел хор бешеных кузнечиков…

Первый раз

Когда я открыл дверь, она стояла, набычив голову, как карапуз, и явно думала, что бежать уже поздно.

— Здравствуйте, дядюшка Аспект! — выпалила она. — Может, вы уже скажете ваше настоя…

— Привет, Бобик! Выглядишь супер, — сказал я, притянул ее к себе и чмокнул в губы.

Легонько, без язычка. Она так перепугалась, что пыталась вырваться. — Не бойся. Моя слюна ядовита только по пятницам, а сегодня суббота.

— Вот чего вы не целовали меня вчера…

— Вчера было вчера.

Я помог ей раздеться. На ней было синее пальто, небесно-голубой платок на шее, в ушах — огромные кольца, на ногах — кружевные чулки и туфли на огромных шпильках. Морда была намазюкана синим, как у оперной примадонны. Под пальто оказалась черная кожаная туника а ля «подружка металлиста».

Да-а, постаралась девочка.

— Обалденный прикид. Даже чересчур. Как и договаривались, — сказал я, потянув тунику.

— Эээ! — дернулась она.

— Что «эээ»? Ты, кажется, забыла, что я тебя на сегодня купил, и ты — моя собственность? А? — чеканил я, стащив с нее чулки с трусами. Сплошные кружева, блин. — Ты считаешь, что сегодня у тебя есть право быть одетой? Подними… Теперь другую… — я

освободил ее ножки от мотка кружев.

Ножки были бархатными и холодными, как ледышки, и жестоко, изматываяще красивыми, почти до слез.

Я подержал в руке маленькую ступню. Потом провел пальцами к бедру и бутончику, скрытому под краем туники, зацепил его и выбрался на живот под черной лайкой; На пальцах остался липкий след. Ага!..

Бобик дрожала.

— Ты бархатная и зверски приятная на ощупь, — сказал я, запустив под тунику другую руку.
— Приятней любого котенка. Любого махера или шелка, — говорил я, щупая ей бедра и ягодицы.

Я общупал их спереди и сзади, подминая пальцами нежную плоть, потом бесцеремонно залез в задницу, натянул половинки в разные стороны и сжал их, как тугие плодики.

Она громко пыхтела, вытаращив перемазанные синькой глаза. Два огромных янтаря в синей оправе;

— А теперь, — сказал я, убрав с нее руки, — а теперь ты снимешь все, что на тебе осталось, а я полюбуюсь, как ты это делаешь.

Я отошел. Она застыла, затем нервно улыбнулась, зажмурилась и потянула с себя тунику. Черный край медленно пополз кверху.

Это было, как в боевиках, когда на бомбе идет обратный отсчет — четыре, три, два, один; Выглянул мысок, показались лиловые лепестки и вся пизда, волосатая, почти совсем взрослая, и над ней — плантация черных зарослей до пупка.

Я представил, что чувствует она, и облился внутри сладким холодом, глядя, как оголяются ее бедра, плавные, почти без углов, чуть узковатые — но она ведь еще девочка;

Под туникой была черная кружевная маечка и такой же лифчик.

— У тебя очень красивое белье. Я оценил, — сказал я. — А теперь — давай его с глаз долой. Не думай, что и как, просто снимай и все.

С майкой и лифчиком она возилась, наверно, минут пять, и я чуть не лопнул от мурашек, бегающих по мне, как по африканским джунглям, пока она не справилась с бретельками и не осталась совсем голой.

— Ну, вот мы и приняли приличный вид, — сказал я, подходя к ней.

— И; и как вам?; — хрипло спросила она.

— Ну ты и наглый, Бобик! Тебе мало вчерашних комплиментов? — говорил я, кладя руки ей на бедра. — Тебе, значит, надо рассказать про твои божественные ягодицы; про осиную талию, наливные девичьи груди, белые и невинные; про покатые плечики, бархатную спинку;

Я говорил — и щупал ей все это, гладил, подминал пальцами; Она была неопишима. Если природа дарит — то дарит щедро, комплектом, сверху донизу. Черт, как же ей не хватает волос, длинных, сверкающих волос до попы, в которых она куталась бы, как русалка, — и как больно бьет эта ее мальчишеская обстриженность прямо по яйцам; При мысли о том, что сегодня я осеменю это голое чудо, у меня потемнело в голове. Спокойно, спокойно; Так нельзя.

— Твой Владик уже видел все это?

— Ннет; да. По интернету. По пояс только; А можно в душ?

— Валяй. Все полотенца чистые. Только не вздумай там кончить без меня. Поняла или нет?

Она пулей влетела в ванную, а я облокотился о стенку, с шумом выпустив воздух. Фффух… Выкинуть, вытолкнуть нахуй покаянные мысли о самце, растлевающим невинное дитя. ЧЕЛОВЕК В ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ — ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК. Тем более — с ее умом, которого нет и никогда не будет у большинства ее старших соседей по планете…

Мы равноправны. Она свободна в своем выборе. Я спокоен.

Сейчас я приду в себя и сделаю все, как надо — по плану, по стратегии… Выпью с ней, голой и малиновой от стыда, доведу ее до кондиции… буду медленно, постепенно дразнить ее, пока она не выбесится, как мартовская кошка, и не восхочет секса пуще жизни, — и тогда… Черт. Я — опытный мужчина, знающий, когда и на какие клавиши нажать, чтобы невинное дитя познало все, что ему полагается познать… Черт. Я абсолютно спокоен…

Шум воды умолк. Выснулась стриженная голова, красная, с потекшей синькой (я не мог не улыбнуться), и за ней — тело хозяйки, разгоряченное, в капельках. Они блестели на плечах, на ключицах, на взрослых, набухших ее грудях с темными сосками (они, если загорят, наверняка чернеют у нее, как у мулатки)… Видно, от волнения забыла вытереться, или вытерлась тят-ляп, не попадая на себя… Черт.

Ее глаза, огромные и психованные, кололи меня янтарными разрядами. В самые печенки. Черт…

Не успел я снова чертыхнуться, как мои руки уже мяли ее, мокрую, пупырчатую от гусиной кожи, и губы кусали ее губы, отвердевшие с перепугу, и весь я вдруг увяз в ней, как муха в меду, и не мог уже без нее ни двигаться, ни дышать…

Я плохо помню все, что тогда было. Каким-то образом она оказалась на кровати, и я колотился в ней, вдвинувшись по самые яйца, а она орала — то ли от боли, то ли от испуга, — и я орал вместе с ней, выпуская из себя разряд, который вибрировал между нами, давил и рвал мне нутро, царапал его цветными молниями — и все никак не выходил, и никак, никак не выходил, и когда наконец вышел — я провалился в крик без верха и низа, и там был только ритм, блаженная боль и круглые психованные глаза, сверлящие меня сквозь туман…

Второй раз

Она стояла в дверях, глядя на меня с неопишуемой улыбкой — вызывающей, стеснительной, дразнящей, виноватой и хрен знает какой еще.

— Вы сегодня будете такой же дикий, как вчера, да? Звериные инстинкты и все такое?

Впервые в жизни я не нашелся, что ответить.

— А я теперь сексуальный инвалид… С вашей подачи… Вы меняпустите или как?

Опомнившись, я удержал ее за плечо:

— Эээ! Одетым вход воспрещен. Забыла?

— Хоть дверь прикройте…

— Обойдешься.

Я снял с нее пальто, потом присел на корточки и залез под тунику, потянув вниз чулки с трусами.

На сей раз Бобик была в попсовых синих сапогах до колен.

— С легким паром! — сказал я, взяв ее ногу и прижавшись щекой к сапогу.

— О! Вы настоящий постмодернист. Аллюзии и все такое, — сказала Бобик. Голос ее дрожал.

— Не матерись в культурном доме; Как поживает наша пострадавшая?

— Аааа; О Боже. Совсем недавно еще я подумать не моглаааа; — подвывала Бобик охрипшим баском, как цыганка.

Я тискал ей ножки, холодные с улицы, потом сунул руку в голую промежность и стал месить сразу все, что там было, от ануса до клитора.

— Тебе штраф, — шептал я, массируя липкий бутон. — Пойдешь со мной гулять. Прямо вот так.

— Как — «вот так»?!

— Вот так. Сапоги наденешь — и вперед.

— Но; тут же почти все видно!..

— И хорошо, что видно.

— Холодно; Я простужу себе нафиг все;

— Ну, за это не волнуйся. Уж что-что, а холодно тебе точно не будет.

Кошачьи глаза умоляюще смотрели на меня;

Куда только девалась ее выдержка! Она шла мелкими шажками, вцепившись мне в локоть, и от ее бедер шла такая волна гормонов, что я чувствовал ее сквозь брюки.

— Что вы наделали, — бормотала она цыганским баском. — Меня теперь запомнят тут, как шлюху какую-нибудь;

«Ты и есть шлюха» — хотел сказать я, но промолчал.

Она выглядела неопишимо. Край туники спускался всего на три-четыре сантиметра ниже пизды; любое неосторожное движение — и всем будет все видно. В синих сапогах, в черной лайковой тунике, с неприлично голыми ногами, с небесно-голубым платком на шее, стриженная, похожая на длинноногую синицу; «Шевелюра сделала бы ее — вот такую — блядь», думал я, «а так — терпкий, бархатный, недоспелый еще плодик. Кричащая сила молодости»;

Мы шли по улице. Когда навстречу шли прохожие, она сжимала мой локоть и висла на нем, как маленькая.

Выждав лакуну в людском потоке, я высвободился и обнял ее за талию, затем спустил руку ниже, на голую, покрытую гусиной кожей попу;

— Что вы делаете? — жалобно басила Бобик.

— Задираю тебе край туники, — отвечал я. — Ты такая бархатная там, упругая, как абрикоска; Такая, знаешь, тверденькая, зеленая еще;

— Позеленеешь тут с вами;

Я гладил ей голую попу и бедро, а Бобик пыхтела, отчаянно натягивая тунику вниз. — Холодно!

— Разве? А ты там такая горячая; Ну ладно, давай погреемся. В общественном транспорте.

Я поднял руку, тормозя маршрутку.

— Эээй! Вы что!; Вы;

— Сама говоришь — «холодно». А ну-ка; — дверь раскрылась, и я занес ногу на ступеньку.

— Нееее! Я не пойдууу!

— «Не» так «не». Иди домой.

— Как я пойду?!..

— Так и иди.

— Аааааа! — Маршрутка тронулась, и Бобик прыгнула ко мне.

Туника сбилась вверх, приоткрыв край пизды. Маршрутка дергала, Бобик вцепилась в меня и пыталась одной рукой натянуть тунику обратно, но у нее не получалось. Вокруг было полно народу!

— Никогда еще не видел такого бешеного взгляда. На два, пожалуйста! — говорил я. Бобик молчала, чтобы не привлекать внимания, и сверлила меня янтарными лазерами.

На нас, конечно, никто не смотрел, и я незаметно положил руку ей на ягодицу.

— Не надо, — пискнула она.

— Надо, Бобик, надо. Проходи. — Я пробрался в салон и сел. Бобик шла следом за мной, держась двумя руками за поручень. Туника упрямо ползла вверх, и на Бобика было жалко смотреть. Усевшись рядом со мной, она сжала коленки, как только могла, натянула тунику, как тетиву, и прикрылась руками.

— Как дела? — спросил я.

— Я вас убью. Когда-нибудь, — прошептала она сквозь зубы.

Через пару остановок я вывел ее на улицу. Провел во двор панельного дома, темный, неосвещенный, — и, когда вокруг не оказалось прохожих, задрал ей тунику к самому животу.

— Эээ! — она пыталась вернуть ее на место, но я присел на корточки, обхватил ее за попу и стал целовать ей животик, теплый, почти горячий!

Ее ножки были залиты настоящим водопадом соков — от пизды до щикотолок. Я такого еще не видел.

— Да ты настоящий живой родник! Представляю, что творится на сиденье, где ты посидела, — говорю ей. — Раздвинь-ка! Вот так!

Слизываю липкий поток с внутренней стороны ее бедра — от коленки и выше. Кожа ее будто вымазана соленым медом!

Не сопротивляется. Еще бы! Стараюсь лизать не плотно, вскользь, чтобы утопить в мурашках! Выше, выше, ближе к пизде, темнеющей в вечернем полумраке!

Мои руки мнут попу, щекочут ее внутри, вокруг ануса, в самом чувствительном месте.

Девочка шатается, стонет, попа крутит восьмерки! А вот и пизда. (Эротические рассказы) Вот бутончик, просоленный насквозь горячим соусом, вот его сердцевинка!

Юлит бедрами — то ли отводит от меня заветное, то ли, наоборот, подставляется!

Сильным, жестоким лизком влизываюсь в ложбинку между лепестками, кончиком языка пробую край дырочки, чуть захожу внутрь!

— Иииыыэээ! — чуть не плачет она. — Иииэээ! Оооо! Ооо! —

коленки ее подгибаются настолько, что мне приходится держать ее за бедра. Практически на весу. Это нелегко, и долго я так не выдержу. Впрочем, и она тоже.

— Аааааооо! — быстро-быстро трахаю ее языком, исторгая из дырочки новые и новые потоки соли. Она уже почти, почти готова!

— А теперь — на четвереньки! Быстро!

Не говорю «раком»: рано еще с ней так. Отпускаю ее, и она с криком падает в листья, пыльные осенние листья, устлавшие густым ковром землю. Она оглушена, ничего не слышит и не понимает, кроме того, что ей до истерики, до корчей хочется ебаться. Я помогаю ей: ставлю на коленки, раздвигаю бедра, задираю тунику до середины спины!

Я волновался, как не волновался уже лет 18. Сдернул брюки до колен, упал к ней… Хуй нырнул в липкое веретено, как по маслу. Аааа…

Стараюсь медленно, деликатно, не так, как вчера. Виляет попкой, наподдает, насаживается, дергается, будто ее бьют током…

— Глубже!

— Что?

— Глубже… сильнее… аааа…

— Ты же сексуальный инвалид. С тобой надо деликатно…

— Аааа! Сильней, пожалуйста! Пожаалуйста!!! — она почти орет, забыв, что она на улице, и нас могут попалить. — Ыыыы! Ыых! Ыых!

— А как же бедная поруганная девственность?

— Ыыыыхххрр!..

Плюнув на все, я всаживаюсь в нее до упора и ебу так, как хочется ей и мне — бешено, грубо, шлепая яйцами по бутону. — Ыыыых! — кричит она, каркая, как ворона. Ее задранный попа, белеющая в полумаске, сводит меня с ума. Подлезаю рукой снизу, нахожу клитор…

— Мнээээааааыы! — воет Бобик, размазываясь по мне всей своей текущей, хлюпающей, скользкой мякотью…

Третий раз

— … Здрасьте!

— Привет!

— Девиц по вызову приглашали?

Сияет, как начищенный пятак.

— Похоже, тебя совсем не смущает такая роль.

— Мне смущаться не положено. Сама ведь продала себя…

Входит. Уверенно, почти вызывающе. — Ну? В этом доме раздеваются снизу. Я уже запомнила.

Приподнимает тунику и стаскивает с себя чулки с трусами, глядя мне в глаза.

Смотрю на нее. Потом притягиваю к себе, голопопую, стреноженную, и впиваюсь в губы.

— Аааооу…

Ее сладкий, психованный, неумелый лизучий ротик пытался выкусить, вылизать и высосать из меня все сразу, но я навязал ритм — и очень быстро она распробовала, как люди общаются ртами, влипают друг в друга, как мухи в мед, смакуют соленую сладость языков и не могут разлепиться…

Одной рукой я держал ее за попу, другой проник в бутончик. Девочка начала хрипеть, а я трахал ее сразу с двух сторон: языком в рот и пальчиком в пизду, крепко массируя клитор…

— … Ааааооох! — она отвалилась от меня и сползла по стене на пол. Туника задралась, ноги раздвинулись, и масляная, наласканная пизда распахнулась, как моллюск.

— Рано отдыхать. Вставай! Вставай, лентяйка! — я поднял ее. Она покорно встала и пошла за мной в комнату.

— А что сейчас будет?

— То самое. Ложись!

Я стащил с нее остаток одежды, разделся сам — и, не мешкая, завалил ее на спину.

— Смотри!

— Куда?

— Сюда! На пизду свою смотри!

— Почему вы все время матюкаетесь?

— Чтобы ты все прочувствовала как следует. Смотри! Видишь?

— Что?

Она выгнулась и смотрела, как я растягиваю ей лепестки и сую свою колбасу в розовый желобок, и потом вытягиваю обратно — и снова сую, и снова, и снова; Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда;

Как я и думал, это зрелище впечатлило ее до красноты. Приоткрыв ротик, она следила, как ее ебут в ее собственную пизду — не на экране, а наяву, взаправду, вот здесь и сейчас;

— Ну что, не верится?

— Что?

— Смотри, что я с тобой делаю! Видишь? Я ебу тебя в пизду, в твою бесстыжую мокрую пизду, потому что ты продалась мне за деньги. Я ебу тебя, потому что ты шлюха. Понимаешь?

Смотри, смотри, как это бывает! Смотри!!!

Я ебал ее и шлепал, как шалаву, и тискал за бедра и за сиськи, а она смотрела на меня исподлобья, сверкая щеками-помидорами.

Она ненавидела меня в ту минуту, но не могла сбежать или даже отползти, и не потому, что я ее купил, а потому, что ей было хорошо. Она дурела от похоти и от того, что ее грубо, животной ебут, шлепают ее, как блядь, тискают и говорят ей страшные вещи, и она видит мой хуй в своей пизде, видит и чувствует его своими мокрыми, молодыми потрохами;

Мне было до смерти обидно за нее.

— Нннахуй! Нннахуй! — хрипел я с каждым толчком. — Нннахуй, ссука блядь! Смотри! Смотри!!!

Мне зверски хотелось вывалить ее в собственной ее грязи — так, чтобы она пропиталась ею до печенок, захлебнулась и кончила. И она кончила — против воли, против ума, который ненавидел меня, против слез, текущих по малиновым щекам — крепко и жестоко кончила подо мной, раздирая горло в крике;

— Пустите в туалет, — буркнула Бобик, когда отдышалась.

— Иди.

Как только она скрылась за углом, я метнулся к ее сумочке.

Тааак, тихонько, бесшумно; вот ее мобилка. Смотрим контакты;

Как я и думал, там не было ни одного контакта с именем «Владик», «Влад» или «Владислав». А также контактов «Любимый», «Зайка», «Манюня»;

Шухер! Сливают воду;

Быстренько прячу и отхожу. Но она не спешит ко мне. Стоит в коридоре и, кажется, хлюпает носом;

Черт.

— Бобик?; Все хорошо?

Не отвечает.

— Бобик!

Выхожу к ней.

Сидит на полу и ревет, размазав синьку. Голая, скрюченная и худая, как февральская кошка.

Почему я не видел, что она такая худая? Она так хорошо сложена, и у нее такая упругая грудь, что этого почти не видно…

— Так, что это за Карелия, страна озер? Сам виноват, дорогой Бобик. Знал, на что шел…

Воспитательный тон, который я взял, не годился ни к черту. Бобик взвыл втрое громче, а я стоял, как придурок, и смотрел на нее, худого скрюченного моллюска с бритой головой.

Потом присел рядом и обнял за плечи:

— Бобик, прости меня. Прости, ладно? Пожалуйста…

Я обнимал ее, целовал в колючую макушку и просил у нее прощения до тех пор, пока она не прильнула ко мне и не ткнулась мокрым личиком в шею, и не обняла меня своей худенькой рукой за спину…

Последний раз

— Привет! Чего это ты без парада?

— А я вам и так нравлюсь, нет?

Вызывающе смотрит на меня. Снова в джинсах, в кожанке. Даже не накрасилась.

— Ну, вообще-то да. Есть такое… Идем трахаться, Бобик. Обещаю, что буду нежным, как облако в штанах.

— Идемте.

Разувается, снимает куртку. Под ней — простая футболка с Маккартни. Хочет снять…

— Погоди.

— Ай, пардон, я забыла: у вас надо снизу…

— Погоди, Бобик. Сегодня все будет не так.

Веду ее в душ.

Раздеваю, стараясь вкладывать в каждое движение и прикосновение максимум ласки.

Получается не ахти как — волнуюсь, да и практики давно не было, — но ей нравится. Наверно, не то, как я ласкаю ее, а то, как я стараюсь.

— Ааааа… И в самом деле облако, — простонала она, когда я медленно-медленно стянул с нее трусики, щекоча языком лепестки пизды.

— Ну вот… — я обнял ее, голую, и стал целовать ей соски — нежно-нежно, не спеша, чтобы она истаяла, как Снегурочка на медленном огне. Бобик гнулась выюном, жмурилась, мотала гололой — и наконец с хрипом вцепилась мне в плечи:

— Аххрррр! Вы смерти моей хотите, да?

— Да. Идем-ка вот сюда, — я быстро скинул тряпки и втащил ее под душ. — Ааааа! хорошо, хорошооооо!..

Она визжала и фыркала, загораживаясь рукой от сильных горячих струй, бивших в ее тугую, сразу же покрасневшую кожу. Уменьшив напор, я снова занялся ее сосками, маленькими, набухшими от телесного тока.

— Не делали тебе так? — спрашивал я, проводя водяными иглами по распаренным грудям, и глядел в ее масляные, туманящиеся глаза. — Ах да, я забыл. Ты же у нас без пяти дней девственница…

Ей было так приятно, что она даже не стала язвить в ответ. Я поливал ей соски, переходя скользящим движением к затылку и коже на голове, и потом обратно, и снова, и снова; потом спустился ниже, к животику…

— Раздвинь ножки, Бобик.

— Раздвинуть или задрать? — спросила она хриплым басом. — Я все-таки Бобик…

— По желанию…

Я вдруг тоже охрип и заговорил, как она. Струйки уже поливали ей шерсть на лобке, и Бобик громко сопела. — Раздвинь!..

Она не шевелилась.

— Давай-давай, не бойся. — Я опустил душ еще ниже, на губки, и она не выдержала — ухнула, и не басом, а тоненько так, жалобно, как котенок, и все-таки раскорячила коленки, с ужасом глядя на меня. — Шире, еще шире! — Она присела ниже, и я начал пытку душем, от которой Бобик немедленно захныкала тоненьким котеночьим голоском.

Когда-то моя первая любовница проделывала это со мной, и я знал, что чувствуешь, когда струйки душа ползут к незащищенным гениталиям, и все тело окутывается миллионом мурашек, а струйки все ближе, ближе к самому чувствительному, и от этого жутко, жутко до кислоты во рту, и кажется, что — вот, струйки доберутся Туда и ужалят в сердцевину, и ты умрешь, лопнешь от сладкого яда; но они добираются и жалят, и не просто, а по кругу, снова и снова, обжигая все нервные окончания — и ты захлебываешься смертельной сладостью, от которой некуда бежать, и у тебя между ног полыхают радуги и цветут огненные цветы… Бобик уже хватала воздух ртом и выгибалась, выпятив сиси. Они у нее прямо-таки кричали, и я тербил и шлепал эти мягкие наливные шарики, задевая сосочки, но вскользь, мимоходом, чтобы намучить ее еще сильнее.

— Никогда не делала себе так? — шептал я, поливая ей клитор, лиловый от возбуждения. Она молча мотала головой. Я вдруг сунул туда руку и завибрировал в мокрых лепестках. Бобик взвыла благим матом. — А так?

— Ииииыы… так делала… ыыыы… только…

Она упала на меня, вцепившись в плечи, а я стоял, как Атлант, рискуя грохнуться вместе с ней, и дробил мокрый бутон, и потом влип в него хуем, протолкнулся и вогнал свой разряд глубоко внутрь вымокшего тела — туда, туда, вот туда, глубже, и глубже, и еще, и еще глубже…

— ИИИИИИЫЫЫ!!! — вопили мы, хватаясь за мокрые плечи, бедра и бока. Брошенный душ поливал нас, как грядку, каскадами щекотных капелек, бивших в нос и в глаза.

Не знаю, как мы удержались на ногах и не покалечили друг друга.

Потом я принес ее в кровать, и там обтер с ног до головы, как ребенка…

— Даааааа… — стонала она. — У меня сегодня такое чувство, что это не вы заказали меня, а я вас.

Вот вредина!

— Даже после того, как я трахнул тебя в ванной?

— Не «трахнул», а «выебал». Соблюдайте выбранный дискурс!

Я промолчал. Потом спросил:

— А не подметил ли ты, Бобик, странную вещь?

— Какую?

— А такую: мы с тобой лежим уже около часа, не трах… миль пardon, не ебемся… деньги я тебе отдал, ты их пересчитала при мне… и…

— И?

— И… тебе не кажется, что мы с тобой все никак не можем расстаться?

— Выдворяете меня?

— А ну не виляй!

— Не буду. Нет, мне не кажется. А даже если и кажется, я об этом не скажу.

— Почему?

— Потому.

— Владик?

— Да, Владик!

— Но тем не менее ты не уходишь. И даже не одеваешься.

— Как не одеваюсь? Очень даже одеваюсь! — она приподнялась, чтобы встать с кровати. Я придержал ее:

— Погоди. Погоди, Бобик…

— Что?

Я посмотрел на нее. Потом прильнул к ее губам.

Один поцелуй может быть запретней и слаще нескольких дней секса без тормозов. Я влипал губами в ее губы, зная, что это нельзя, что все позади, и она знала это — и отвечала мне, чем дальше, тем горячее, хоть перед этим досыта уголила свою похоть…

Минута — и мы слепились в единый стонущий комок.

— Бобик, — говорил я, жая ее языком в раскрытые губы. — Ну как мне тебя отпустить? Как? Каак? Кааак? — вопрошал я на каждом толчке, и Бобик отзывалась мне:

— Аа? Ааа? Аааа?..

Я не видел ее полторы недели.

Ровно настолько меня хватило: полторы недели цинизма, реализма, практицизма и других измов, хором гласящих, что нам не по дороге, и нужно гнать приبلудного Бобика из души, гнать поганой метлой, пока не прописался…

— Где тебя найти, если что? — спросил я, когда она стояла в дверях.

— Если ЧТО?

— Если что-нибудь.

— Ха. Там же, где и нашли. Планета Земля, посадочный пункт одиноких бобиков…

Умная, чертовка. Ничего не сказала, но в то же время…

И вот я здесь. На «посадочном пунктне». В том же месте, на той же скамейке.

Сижу уже три часа, потому что у меня нет ее телефона, адреса, нет даже имени — только место. Место встречи, как в том самом фильме.

Никакой надежды на то, что я дождусь ее, что она появляется на «посадочном пункте» чаще, чем раз в жизни. И…

… И когда она все-таки появилась, никем не званная, и стала тревожно высматривать кого-то, и увидев меня — окаменела, повернула назад, и все-таки развернулась и пошла, даже побежала ко мне, — вот тогда я разволновался, как никогда в жизни, и почему-то сдерживал улыбку, прущую навстречу ей, как бурьян после дождя…

— Здрасьте!

— Забор покрасьте. Падай, чего стоишь?

— Эээ…

Она улыбнулась и плюхнулась на мою скамейку, в метре от меня. Не близко и не далеко.

— Как дела?

— Отлично! А у вас?

— У меня так себе. И у тебя тоже.

— Почему это?

— Потому что не выходит у тебя вилять. Не получается.

— Не получается?

— Не-а. Давай рассказывай.

— Нуууу… что рассказывать?

— Для начала расскажи, сколько раз ты продавала девственность.

Молчит. Не ожидала.

— Эээээ…

— Не экай. Сколько? Четыре? Пять?

— Ээээ… Три.

Она скрючилась, но тут же выпрямилась.

— Три. То есть вы были третий. Такие… шарики с красной краской, как икринки, знаете? Типа кровь… Как вы догадались? И когда?

— Во второй день. Девственницы так себя не ведут. И трахаются иначе, и пизда у них другая.

Изнутри.

— Изнутри?

— Да. И никакого Владика нет.

— Есть!

— Нет.

— Есть!!!

— Нет! А ну не вилять!!!

— Откуда вы знаете?

— От верблюда. У тебя минимум за месяц до меня был регулярный секс. Не знаю, Владик это или нет, но вряд ли он инвалид. И еще думаю, что их у тебя много, Владиков этих.

Молчит.

— Сколько? Четыре? Пять?… Зачем?

— А вам какое дело?

— Какое дело? Сейчас объясню. Ты — красивая, сексуальная, умная, талантливая девушка, Бобик. Пожалуй, ко всему этому можно прибавить слово «очень». Очень красивая, очень талантливая, и тэ дэ. И тебе восемнадцать лет. **ЧЕЛОВЕК В ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ — НЕ ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК.** Человек в восемнадцать лет — ребенок, который не ведает, что творит. Даже если это очень умный ребенок, как ты. Понимаешь? Мы с тобой **НЕ** равноправны. Ты **НЕ** свободна в своем выборе, Бобик. Я **НЕ** спокоен за тебя. Вселенная **НЕ** заинтересована в том, чтобы такой замечательный экземпляр, как ты, превратился в обыкновенную шлюшку. Или даже не в обыкновенную, а очень хитрую и талантливую.

Улавливаешь нить?

— Когда мы с вами познакомились, вы думали не так.

— Да, Бобик, не буду вилять. Думал. Был такой грех.

Молчит.

— Тебя как звать-то?

— Зачем вам?

— Не хочешь — не говори.

— Глаша.

— Врешь.

— Вру. Мира. Мирослава. Щас не вру, честно.

— Мира? Ты сюда часто ходишь, Мира?

— Ээээ; вот сюда?

— Да. Вот сюда.

— Вот на эти лавочки?

— Вот на эти лавочки.

— Нуууу; Вообще-то нет, но;

— Но?

— Но; Вообще-то да. Не вилять — так не вилять. Я ищущу вас тут уже который день. Не знаю, зачем. Но точно не потому, что вы такой весь из себя олигарх, ясно вам?

— Ясно. Я тоже не буду вилять, Бобик. Я скажу тебе ужасную вещь.

— Какую?

— Я не совсем олигарх. Никакой кучи из тысяч баксов у меня нет. И никогда не было. Понимаешь, не всегда получается не вилять. Особенно с тобой.

— Ааа; а;

— Я продал машину. Хороший такой BMW. Копил на него четыре года, а наездил четыре месяца. Но я не жалею, как можешь видеть. Это была самая выгодная сделка в моей жизни. Она пораженно смотрела на меня.

— Зачем? Зачем вы это сделали?

— А ты не понимаешь? — спросил я.

Она молчала. Потом подвинулась чуть ближе.

— Хорошо. Не буду вилять. Я расскажу. Но только; блин, вы же все равно не поверите;

— Поверю. Теперь поверю.

Бобик взяла меня за руку. У нее было такое лицо, что я понял: сейчас ей нужно верить. Каждому ее слову и каждому взгляду.

И у меня нехорошо пробрало внутри — будто я уже знал, что она скажет.

— В общем; Конечно, вы подумали, что все это из-за денег. Увидела девочка, что она не урод, и решила подзаработать; В общем, так оно и есть. Нет у меня никакого Владика, и деньги эти — для меня, конечно; Но только; Щас я объясню; Когда мне сказали, сколько мне осталось — понимаете, я решила, что мне в моем положении, в общем-то, не до морали; Особенно, когда меня после химии обрили под ноль. Ведь вы правильно догадались: у меня были знаменитые волосы; На химию мы худо-бедно собрали деньги; и все. В интернете счет висит уже два года — без толку. Капает иногда что-то — по тыще в полгода. Знаете, сколько таких, как я? Красивых, лысых, с пронзительными глазами; Год назад я наткнулась на объявление. «Продам девственность»; « Он был паскудным типом. Михал Алексеич, толстый такой»; Продырявил меня за пять тыщ баксов. И я тогда решила, что мне терять нечего, и стала спать с парнями. Чтобы успеть, понимаете? Только с теми, которые мне нравились. Кстати, я должна сказать вам спасибо. Это было; ээээ; я даже и сказать не могу; Я даже и не знала, что можно так; Все четыре раза; Спасибо вам. Если б не вы

— я бы так и не узнала…

Она закашлялась.

— А однажды я прочитала про вот эти самые шарики… Перетрухала здорово, боялась, что попалит и убьет. Семен, очкастый такой, с обручалкой на пальце… Но нет, обошлось. Семь тыщ… Зачем мне деньги? Ну, сама себе я говорю: вдруг все-таки насобираю на операцию. Метастазы растут, гады такие, и без скальпеля в кишках я точно не жилец. Во-вторых… Не насобираю — так хоть поживу по полной. В Гималаи съезжу. Я уже и дату наметила… И своим оставлю фонд. У меня ведь сестра есть, здоровая, талантливая, ей знаете как пригодится… Остался мне годик, максимум полтора, так что…

Я молчал.

Потом, когда смог говорить, спросил:

— Почему ты не говоришь прямо, зачем тебе деньги? Неужели ты думаешь, что люди не отзовутся, не помогут, не…

— А зачем? Зачем мне привязывать к себе вот таких, как вы? Ну, найдется папик, вложит в меня, даже подлечит на сколько-то там, — и что? Вот так вот жить — в долг, из благодарности, давать благодетелю трахать тебя и не сметь смотреть на тех, кто тебе нравится? Уж лучше прожить год — но ПРОЖИТЬ. Кроме того… Даже если я встречу кого-то… Ведь так нельзя. Я не имею права влюбляться и влюблять в себя, понимаете? Я не имею права быть близкой с кем-то. Год, всего год. Понимаете?..

Я молчал. Пронзительно, трусливо молчал, сжимая ее руку и не глядя ей в глаза.

— Вот и с вами… Не смогла. Не утерпела. Влюбилась, — говорила она глухо, как в кулак. — Я должна бежать от вас, за тридевять земель бежать, чтобы вы ни сном ни духом меня не видели, и даже тень мою… А вместо этого прихожу сюда каждый день, жду вас по два часа… зачем? Зачем? Все равно ведь умру, а вам только лишняя боль… Она подняла на меня свои кошачьи глаза.

Секунду я смотрел в них.

Потом схватил Миру, привлек к себе — и стиснул так, что ей, наверно, было больно, хоть она и блаженно сопела мне в шею, и обнимала меня так же крепко, до боли…

— Не умрешь, — говорил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Только попробуй у меня. Умрешь — домой не возвращайся, ясно? Вылечим мы тебя. Накопим бабок… И на операцию, и на Гималаи, и еще сестре останется. Ясно тебе?

Она тихо скулила и смеялась, влипая губами мне в шею.